

# О МОЛОДОМ УЧИТЕЛЕ

В этом году Г. Бояджиеву исполнилось бы 80 лет

ГИТИС конца 30-х — самого начала 40-х годов был царственно щедр. Мы, тогдашние студенты, с невежеством юности принимали как должное и обычное то, что досталось нам чудом, и только впоследствии поняли, сколь фантастично нам повезло.

Историю изобразительного искусства и архитектуры преподавал Николай Михайлович Тарабукин. Манера говорить у Тарабукина была вялая, флегматичная, глаза печальные, под глазами мешки. Николай Михайлович сознавал, что он — неудачник. В молодости он подавал самые большие надежды, всем казался восходящей звездой первой величины, успел высказать немало новаторских идей в сфере формального анализа произведений живописи, скульптуры, зодчества. Повальная «проработка» всех «формалистов», от Шостаковича до Фаворского и от Мельникова до Мейерхольда, учиненная в 1936—1938 годах, не миновала и Тарабукина: его книги остались недописанными, блестящие статьи (в частности уникальная по четкости и простоте работа «Зрительное оформление в ГОСТИМе») — неизданными. С нами беседовал человек сломленный, утративший веру в себя. Но не отступившийся от своих идей и с меланхолической последовательностью излагавший их студентам. На его занятиях у нас в буквальном смысле слова раскрывались глаза: мы постигали законы построения композиций, равносильные и для живописного полотна, и для старинного храма, тайны колористических соотношений и диссонансов, узнавали, как движение времени меняет и преобразует форму, структуру.

Насколько я теперь понимаю, неудачником был, в сущности, и Василий Григорьевич Сахновский, который знакомил нас с основами режиссуры: этот брутальный, темпераментный человек всю свою жизнь почему-то оставался на втором плане, его поочередно заслоняли то Федор Комиссаржевский, то Немирович-Данченко, то Станиславский, и значение режиссерской деятельности Сахновского донныне по-настоящему не оценено. Но он-то, в отличие от Тарабукина, своей неудачливости не сознавал, напротив, был мажорен, бурно экспансивен, рассказывал нам о Станиславском и Немировиче, о Мейерхольде и Таирове влюбленно и весело, остро и

точно, а эрудиция... Эрудиция Сахновского казалась неистощимой.

Западную литературу читал Константин Григорьевич Локс, в прошлом человек, близкий Брюсову (это мы знали), тогда — человек, близкий Пастернаку (этого мы не знали), — читал сухо, монотонно, казалось нам, скучно. Но лекции Локса выходили далеко за пределы учебной программы, и те, кто его внимательно слушал, узнавали многое такое, чего ни в каких доступных студенту книгах не сыщешь. Прямой противоположностью педантичному и замкнутому Локсу был рассеянный, чудовищно растрепанный, но вскидчивый и чувствительный до сентиментальности Сергей Константинович Шамбинаго, который читал древнерусскую и русскую литературу и едва ли не плакал, декламируя «Слово о полку Игореве». Юрий Васильевич Соболев с таким же упоением говорил о Чехове и о Художественном театре, Сергей Иванович Радиг — о Гомере и Еврипиде. А кроме того мы имели возможность слушать и несравненного Алексея Карповича Дживелегова, который рассуждал о Данте или о Леонардо да Винчи, как о своих близких знакомых, и всегда мягко-ироничного Абрама Марковича Эфроса, называвшего новые для нас имена: Шарль-Луи Филипп, Жюль Ромен, Луи Селин, кратко, метко и точно характеризовавшего литературу современного Запада. Занимался с нами и художник Владимир Владимирович Дмитриев, сумрачный, но вдруг разгоравшийся, когда речь заходила о Станиславском и Мейерхольде... Наши педагоги, почти все, за редчайшим исключением, были колоритнейшими, самобытными, далеко не ординарными людьми.

Григорий Нерсесович Бояджиев появился в школе на Палашевском переулке, где тогда помещался театроведческий факультет, как только мы перешли на второй курс. Было это в 1939 году. От остальных наших учителей Бояджиев резко отличался прежде всего тем, что был удивительно молод. Ему тогда исполнилось только тридцать лет, и рядом с Шамбинаго, Сахновским, Локсом или Дживелеговым он выглядел чуть ли не мальчишкой.

Забегая вперед, скажу, что Бояджиев остался на удивление молодым до конца дней. Нет, я имею в виду не молодость духа, не только

молодость духа. Он ~~вс~~ молод и внешне, ~~физи~~ после того, как ~~отпразд~~ шом Гнездиновском, ~~и~~ но, свое шестидесятилетие все таким же юношеским темноволосым, с теми же глазами, с тем же речью, с той же экспрессией. Когда он умер, ему было пять, и тем не менее, вопреки, на его похоронах на кладбище Т. И. Баумана несли: «Мы провожаем учителя...»

Она в немногих словах, то, что чувствовали мы

Когда он пришел молодой учитель, его наружились сразу. Впервые Бояджиев свои намерения. Он хотел нас всех — от способностей и навыков сделать театральными. Он учил нас быть критическими, вести говоря, я и понимаю, можно ли этому научиться. Григорий Нерсесович вел себя совершенно не сомневаясь, весь курс, как толковал ГИТИС, тотчас же оговоренными сотрудниками. И наравно и будем вполне правды, дельно и умно поговор. Простой вопрос, не этого талант, нужно ли такое дарованьице, — вове. Один из педагогов Бояджиева சொс, что он разговаривал словно одаренность как ника сомнению не подполагая, что все мы — ные, он исподволь, незаметно не подстегивая, заставляя всех сил тянуться, да его ожидания. И мы — каждый старался превзойти себя, только бы не Бояджиева.

Метода была самая Бояджиев заставлял нас жить на спектакли, небо об отдельных актерах. Потом требовательно эти наши сочинения. интересные зачитывал втирая, то поощрительно, самые удачные, неудачные, с его точными фразами, выражениями. охотно он зачитывал другу по всем пунктам ложные. В этих случаях, но, возникали жаркие